

Иван Сергеевич Тургенев

Три встречи

Аннотация

«Никуда я, бывало, не ездил так часто на охоту в течение лета, как в село Глинное, лежащее в двадцати верстах от моей деревни. Около этого села находятся самые, может быть, лучшие места для дичи в целом нашем уезде. Выходив все окрестные кусты и поля, я непременно к концу дня заворачивал в соседнее, почти единственное в околотке болото и уже оттуда возвращался к радушному моему хозяину, глинскому старосте, у которого я постоянно останавливался. От болота до Глинного не более двух верст; дорога идет все лощиной, и только на половине пути приходится перебраться через небольшой холм. На вершине этого холма лежит усадьба, состоящая из одного необитаемого господского домика и сада...»

Иван Сергеевич Тургенев

Три встречи

*Passa que'colli e vieni allegramente;
Non ti curar di tanta compagnia –
Vieni, pensando a me segretamente –
Ch'io t'accompagni per tutta la via.¹*

I

Никуда я, бывало, не ездил так часто на охоту в течение лета, как в село Глинное, лежащее в двадцати верстах от моей деревни. Около этого села находятся самые, может быть, лучшие места для дичи в целом нашем уезде. Выходив все окрестные кусты и поля, я непременно к концу дня заворачивал в соседнее, почти единственное в околотке болото и уже оттуда возвращался к радушному моему хозяину, глинскому старосте, у которого я постоянно останавливался. От болота до Глинного не более двух верст; дорога идет все лощиной, и только на половине пути приходится перебраться через небольшой холм. На вершине этого холма лежит усадьба, состоящая из одного необитаемого господского домика и сада. Мне почти всегда случалось проходить мимо нее в самый разгар вечерней зари, и, помнится, всякий раз этот дом, со своими наглухо заколоченными окнами, представлялся мне слепым стариком, вышедшим погреться на солнце. Сидит он, сердечный, близ дороги; солнечный блеск давно сменился для него вечной мглой; но он чувствует его, по крайней мере, на приподнятом и вытянутом лице, на согретых щеках. Казалось, давно никто не жил в самом доме; но в крошечном флигельке, на дворе, помещался дряхлый вольноотпущенный человек, высокий, сутуловатый и седой, с выразительными и неподвижными чертами лица. Он, бывало, все посиживал на лавочке под единственным окошком флигеля, с горестной задумчивостью поглядывая вдаль, а увидав меня, приподнимался немного и кланялся с той медлительной важностью, которою отличаются старые дворовые, принадлежащие к поколению не отцов наших, а дедов. Я заговаривал с ним, но он не был словоохотлив: я только узнал от него, что усадьба, в которой он жил, принадлежала внучке его старого барина, вдове, у которой была младшая сестра; что обе они живут в городах да за морем, а

¹ Перейди через эти холмы и приди весело ко мне: не заботься о слишком большом обществе. Приди один и во все время дороги думай обо мне, так чтоб я была твоим товарищем на всем пути. (Прим. автора.)

домой и не показываются; что ему самому поскорей хочется дожить свой век, потому что «жуешь, жуешь хлеб, инда и тоска возьмет: так давно жуешь». Старика этого звали Лукьянычем.

Однажды я как-то долго замешкался в поле; дичи попало порядочно, да и день вышел такой для охоты хороший – с самого утра тихий, серый, словно весь проникнутый вечером. Я забрел далеко, и уже не только совершенно стемнело, но луна взошла, а ночь, как говорится, давно стала на небе, когда я достиг знакомой усадьбы. Мне пришлось идти вдоль сада... Кругом была такая тишина...

Я перешел через широкую дорогу, осторожно пробрался сквозь запыленную крапиву и прислонился к низкому плетню. Неподвижно лежал передо мною небольшой сад, весь озаренный и как бы успокоенный серебристыми лучами луны, – весь благовонный и влажный; разбитый по-старинному, он состоял из одной продолговатой поляны. Прямые дорожки сходились на самой ее середине в круглую клумбу, густо заросшую астрами; высокие липы окружали ее ровной каймой. В одном только месте прерывалась эта кайма сажени на две, и сквозь отверстие виднелась часть низенького дома с двумя, к удивлению моему, освещенными окнами. Молодые яблони кое-где возвышались над поляной; сквозь их жидкие ветви кротко синело ночное небо, лился дремотный свет луны; перед каждой яблоней лежала на белеющей траве ее слабая, пестрая тень. С одной стороны сада липы смутно зеленели, облитые неподвижным, бледно-ярким светом; с другой – они стояли все черные и непрозрачные; странный, сдержанный шорох возникал по временам в их сплошной листве; они как будто звали на пропадавшие под ними дорожки, как будто манили под свою глухую сень. Все небо было испещрено звездами; таинственно струилось с вышины их голубое, мягкое мерцанье; они, казалось, с тихим вниманием глядели на далекую землю. Малые, тонкие облака, изредка налетая на луну, превращали на мгновение ее спокойное сияние в неясный, но светлый туман... Все дремало. Воздух, весь теплый, весь пахучий, даже не колыхался; он только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки... Какая-то жажда чувствовалась в нем, какое-то мление... Я нагнулся через плетень: передо мной красный полевой мак поднимал из заглохшей травы свой прямой стебелек; большая круглая капля ночной росы блестела темным блеском на дне раскрытого цветка. Все дремало, все нежилось вокруг; все как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и выжидая... Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая ночь?

Звук ждала она; живого голоса ждала эта чуткая тишина – но все молчало. Соловьи давно перестали петь... а внезапное гудение мимолетного жука, легкое чмоканье мелкой рыбы в сажалке за липами на конце сада, сонливый свист встрепенувшейся птички, далекий крик в поле, – до того далекий, что ухо не могло различить, человек ли то прокричал, или зверь, или птица, – короткий, быстрый топот по дороге: все эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину... Сердце во мне томилось неизъяснимым чувством, похожим не то на ожиданье, не то на воспоминание счастья; я не смел шевельнуться, я стоял неподвижно пред этим неподвижным садом, облитым и лунным светом, и росой, и, не знаю сам почему, неотступно глядел на те два окна, тускло красневшие в мягкой полутени, как вдруг раздался в доме аккорд, раздался и прокатился волною... Раздражительно-звонкий воздух отгрянул эхом... я невольно вздрогнул.

Вслед за аккордом раздался женский голос... Я жадно стал вслушиваться – и... могу ли выразить мое изумление?... два года тому назад, в Италии, в Сорренто, слышал я ту же самую песню, тот же самый голос... Да, да...

Vieni, pensando a me segretamente...

Это они, я узнал их, это те звуки... Вот как это было. Я возвращался домой после долгой прогулки на берегу моря. Я быстро шел по улице; уже давно настала ночь, – великолепная ночь, южная, не тихая и грустно задумчивая, как у нас, нет! вся светлая, роскошная и прекрасная, как счастливая женщина в цвете лет; луна светила невероятно ярко;

большие лучистые звезды так и шевелились на темно-синем небе; резко отделялись черные тени от освещенной до желтизны земли. С обеих сторон улицы тянулись каменные ограды садов; апельсиновые деревья поднимали над ними свои кривые ветки, золотые шары тяжелых плодов то чуть виднелись, спрятанные между перепутанными листьями, то ярко рдели, пышно выставившись на луну. На многих деревьях нежно белели цветы; воздух весь был напоен благовонием, томительно сильным, острым и почти тяжелым, хотя невыразимо сладким. Я шел и, признаться, успев уже привыкнуть ко всем этим чудесам, думал только о том, как бы поскорей добраться до моей гостиницы, как вдруг из одного небольшого павильона, надстроенного над самой стеной ограды, вдоль которой я спешил, раздался женский голос. Он пел какую-то песню, мне не знакомую, и в звуках его было что-то до того призывное, он до того казался сам проникнут страстным и радостным ожиданием, выраженным словами песни, что я тотчас невольно остановился и поднял голову. В павильоне было два окна; но в обоих жалюзи были спущены, и сквозь узкие их трещинки едва струился матовый свет. Повторив два раза – *viene, viene*, голос замер; послышался легкий звон струн, как бы от гитары, упавшей на ковер, платье зашелестело, пол слегка скрипнул. Полоски света в одном окне исчезли... кто-то изнутри подошел и прислонился к нему. Я сделал два шага назад. Вдруг жалюзи стукнуло и распахнулось; стройная женщина, вся в белом, быстро выставила из окна свою прелестную голову и, протянув ко мне руки, проговорила: «*Sei tu?*»² Я потерялся, не знал, что сказать, но в то же мгновение незнакомка с легким криком откинулась назад, жалюзи захлопнулось, и огонь в павильоне еще более померк, как будто вынесенный в другую комнату. Я остался неподвижен и долго не мог опомниться. Лицо женщины, так внезапно появившейся передо мною, было поразительно прекрасно. Оно слишком быстро мелькнуло перед моими глазами для того, чтобы я мог тотчас же запомнить каждую отдельную черту; но общее впечатление было несказанно сильно и глубоко... Я тогда же почувствовал, что этого лица я ввек не забуду. Месяц ударял прямо в стену павильона, в то окно, откуда она мне показалась, и, боже мой! как великолепно блеснули в его сиянии ее большие темные глаза! какой тяжелой волной упали ее полураспущенные черные волосы на приподнятое круглое плечо! Сколько было стыдливой неги в мягком склонении ее стана, сколько ласки в ее голосе, когда она окликнула меня – в этом торопливом, но все еще звонком шепоте! Простояв довольно долго на одном и том же месте, я наконец отошел немного в сторону, в тень противоположной ограды, и стал оттуда с каким-то глупым недоумением и ожиданием поглядывать на павильон. Я слушал... слушал с напряженным вниманием... Мне то будто чудилось чье-то тихое дыхание за потемневшим окном, то слышался какой-то шорох и тихий смех. Наконец раздался в отдалении шаг... они приблизились; мужчина такого же почти роста, как я, показался на конце улицы, быстро подошел к калитке подле самого павильона, которой я прежде не заметил, стукнул, не оглядываясь, два раза железным ее кольцом, подождал, стукнул опять и запел вполголоса: «*Ecco ridente...*»³ Калитка отворилась... он без шума скользнул в нее. Я встрепенулся, покачал головой, расставил руки и, сурово надвинув шляпу на брови, с неудовольствием отправился домой. На другой день я совершенно напрасно и в самый жар проходил часа два по улице мимо павильона и в тот же вечер уехал из Сорренто, не посетив даже Тассова дома.

Пусть же теперь вообразят читатели то изумление, которое внезапно овладело мной, когда я в степи, в одной из самых глухих сторон России, услышал тот же самый голос, ту же песню... Как и тогда, теперь была ночь; как и тогда, голос раздался вдруг из освещенной незнакомой комнатки; как и тогда, я был один. Сердце во мне сильно билось. «Не сон ли это?» – думал я. И вот раздалось снова последнее *viene*... Неужели растворится окно?

² «Это ты?» (*ит.*).

³ «Вот веселый...» (*ит.*).

неужели в нем покажется женщина? Окно растворилось. В окне показалась женщина. Я ее тотчас узнал, хотя между нами было шагов пятьдесят расстояния, хотя легкое облачко заволакивало луну. Это была она, моя соррентская незнакомка. Но она не протянула вперед, по-прежнему, свои обнаженные руки: она тихо их скрестила и, опершись ими на окно, стала молча и неподвижно глядеть куда-то в сад. Да, это была она, это были ее незабвенные черты, ее глаза, которым я не видал подобных. Широкое белое платье облекало и теперь ее члены. Она казалась несколько полнее, чем в Сорренто. Все в ней дышало уверенностью и отдыхом любви, торжеством красоты, успокоенной счастьем. Она долго не шевелилась, потом оглянулась назад, в комнату, и, внезапно выпрямившись, три раза громким и звенящим голосом воскликнула: «Addio!»⁴ Далеко, далеко разнеслись прекрасные звуки, и долго дрожали они, слабея и замирая над липами сада, и в поле за мною, и повсюду. Все вокруг меня на несколько мгновений наполнилось голосом этой женщины, все звенело ей в ответ, – звенело ею. Она закрыла окно, и через несколько мгновений огонь погас в доме.

Как только я пришел в себя, – а это, признаюсь, случилось не скоро, – я тотчас отправился вдоль сада к усадьбе, подошел к запертым воротам и посмотрел через забор. На дворе не замечалось ничего необыкновенного; в одном углу, под навесом, стояла коляска. Передняя ее половина, вся забрызганная сухой грязью, резко белела при луне. Ставни в доме были закрыты по-прежнему. Я забыл сказать, что я перед тем днем около недели не заезжал в Глинное. Более получаса расхаживал я в недоумении перед забором, так что обратил на себя наконец внимание старой дворовой собаки, которая, однако, не стала на меня лаять, а только необыкновенно иронически посмотрела на меня из подворотни своими прищуренными и подслеповатыми глазками. Я понял ее намек и удалился. Но не успел я отойти полверсты, как вдруг услышал за собою конский топот... Через несколько мгновений всадник, на вороной лошади, крупной рысью промчался мимо и, быстро повернувшись ко мне лицом, причем я только мог заметить орлиный нос и прекрасные усы под надвинутой фуражкой, съехал с дороги направо и тотчас же исчез за лесом. «Так вот он», – подумал я, и сердце во мне как-то странно шевельнулось. Мне показалось, что я узнал его; его фигура действительно напоминала фигуру мужчины, вошедшего при мне в калитку сада в Сорренто. Через полчаса я уже был в Глинном, у моего хозяина, разбудил его и тотчас же начал его расспрашивать о том, кто такой приехал в соседнюю усадьбу. Он мне с усилием отвечал, что приехали помещицы.

- Да какие помещицы? – возразил я с нетерпением.
 - Известно какие – барыни, – отвечал он очень вяло.
 - Да какие барыни?
 - Известно, какие бывают барыни.
 - Русские?
 - А то какие же? известно русские.
 - Не иностранки?
 - Ась?
 - Давно ли они приехали?
 - А известно, недавно.
 - Да надолго ли они приехали?
 - А это неизвестно.
 - Богаты они?
 - А это нам неизвестно. Может, и богаты.
 - С ними никакого барина не приезжало?
 - Барина?
 - Да, барина.
- Староста вздохнул.

⁴ «Прощай!» (ит.).

– О, ох, господи! – проговорил он, зевая. – Н-нет, барина... нет... барина, кажись, нет. Неизвестно! – прибавил он вдруг.

– А какие тут еще соседи живут?

– Какие? известно какие – всякие.

– Всякие? А как их зовут?

– Кого, помещиц-то? аль соседей?

– Помещиц.

Староста опять вздохнул.

– Как их зовут? – пробормотал он. – А бог их знает, как их зовут! Старшую-то, кажись, Анной Федоровной, а другую-то... Нет, ту не знаю, как зовут.

– Ну, фамилья их какая по крайней мере?

– Фамилья?

– Да, фамилья, прозвище.

– Прозвище... Да. А ей-богу же, не знаю.

– Они молодые?

– Ну, нет. Этого нет.

– А как?

– Да младшей-то лет сорок с лишком будет.

– Ты все врешь.

Староста помолчал.

– Что ж – вам лучше знать. А нам неизвестно.

– Ну, зарядил одно слово! – вскрикнул я с досадой.

Зная по опыту, что из русского человека, когда он примется отвечать таким образом, нет никакой возможности извлечь что-нибудь толковое (притом же мой хозяин только что было завалился спать и перед каждым ответом слегка покачивался вперед, с младенческим изумлением расширяя глаза и с трудом расклеивая губы, смазанные медом первого сладкого сна), я махнул рукой и, отказавшись от ужина, пошел в сарай.

Я долго не мог заснуть. «Кто она такая? – беспрестанно спрашивал я самого себя. – Русская? Если русская, отчего она говорит по-итальянски?.. Староста толкует, что она немолодая... Да он врет... И кто этот счастливец?.. Решительно ничего понять нельзя... Но какое странное приключение! Возможно ли этак два раза сряду... Однако я узнаю непременно, кто она и зачем сюда приехала...» Волнуемый такими беспорядочными, отрывчатыми мыслями, я заснул поздно и видел странные сны... То мне казалось, что я брожу где-то в пустыне, в самый жар полудня – и вдруг, я вижу, передо мной, по раскаленному желтому песку, бежит большое пятно тени... я поднимаю голову – она, моя красавица, мчится по воздуху, вся белая, с длинными белыми крыльями, и манит меня к себе. Я бросаюсь вслед за нею; но она плывет легко и быстро, а я не могу подняться от земли и напрасно простираю жадные руки... «Addio! – говорит она мне, улетаая. – Зачем нет у тебя крыльев... Addio...» И вот со всех сторон раздается: Addio! Каждая песчинка кричит и пищит мне: Addio... нестерпимой, острой трелью звенит это i... я отмахиваюсь от него, как от комара, я ищу ее глазами... а уж она стала облачком и тихо поднимается к солнцу; солнце дрожит, колышется, смеется, простирает к ней навстречу золотые длинные нити, и вот уж опутали ее эти нити, и тает она в них, а я кричу во все горло, как иступленный: «Это не солнце, это не солнце, это итальянский паук; кто ему дал паспорт в Россию? я его выведу на свежую воду: я видел, как он крадет апельсины в чужих садах...» То мне чудилось, что я иду по узкой, горной тропинке... Я спешу: мне надо дойти поскорей куда-то, меня ждет какое-то неслыханное счастье; вдруг громадная скала воздвигается передо мною. Я ищу прохода: иду направо, иду налево – нет прохода! и вот за скалой внезапно раздается голос: Passa que'colli... Он зовет меня, этот голос, он повторяет свой грустный призыв. Я мечусь в тоске, ищу хотя малейшей расселины... увы! отвесная стена, гранит повсюду... Passa que'colli – жалобно повторяет голос. Сердце во мне ноет, я бросаюсь грудью на гладкий камень, я в иступлении царапаю его ногтями... Темный проход открывается вдруг передо мною...

Замирая от радости, устремляюсь я вперед... «Шалишь! – кричит мне кто-то, – не пройдешь...» Я гляжу: Лукьяныч стоит передо мною, и грозит, и машет руками... Я торопливо роюсь в карманах: хочу подкупить его; но в карманах ничего нет... «Лукьяныч, – говорю я ему, – Лукьяныч, пропусти меня, я тебя после награжу». – «Вы ошибаетесь, синьор, – отвечает мне Лукьяныч, и лицо его принимает странное выражение, – я не дворовый человек; узнайте во мне Дон-Кихота Ламанчского, известного странствующего рыцаря; целую жизнь отыскивал я свою Дульцинею – и не мог найти ее, и не потерплю, чтобы вы нашли свою...» *Passa que' colli...* – раздается опять почти рыдающий голос. «Посторонитесь, синьор!» – восклицаю я с яростью и готов уже ринуться... но длинное копье рыцаря поражает меня в самое сердце... я падаю замертво, я лежу на спине... я не могу пошевелиться... и вот вижу – она входит с лампадой в руке, красиво подымает ее выше головы, озирается во мраке и, осторожно подкравшись, наклоняется надо мною... «Так вот он, этот шут! – говорит она с презрительным смехом. – Это он-то хотел узнать, кто я», и жгучее масло ее лампы капает мне прямо на раненое сердце... «Психея!» – восклицаю я с усилием и просыпаюсь...

Всю ночь я спал плохо и до света был уже на ногах. Наскоро одевшись и вооружившись, отправился я прямо к усадьбе. Нетерпение мое было так велико, что заря только что разгоралась, когда я подошел к знакомым воротам. Кругом пели жаворонки, галки покрикивали на березах; но в доме все еще спало утренним, мертвенным сном. Собака даже храпела за забором. С тоской ожидания, раздраженного почти до злобы, похаживал я по росистой траве и беспрестанно поглядывал на низенький и неказистый домик, заключавший в стенах своих то загадочное существо... Вдруг калитка слабо визгнула, отворилась, и появился на пороге Лукьяныч, в каком-то полосатом казакине. Его взъерошенное, вытянутое лицо показалось мне еще угрюмее, чем когда-либо. Не без изумленья посмотрев на меня, он уже было хотел опять затворить калитку.

– Любезный, любезный! – воскликнул я торопливо.

– Что вам надо в такую раннюю пору? – возразил он медленно и глухо.

– Скажи, пожалуйста, к вам, говорят, ваша барыня приехала?

Лукьяныч помолчал.

– Приехала...

– Одна?

– С сестрой.

– Не было у них вчера гостей?

– Не было.

И он потянул к себе калитку.

– Постой, постой, любезный... Сделай одолжение...

Лукьяныч кашлянул и поежился от холода.

– Да что вам такое надо?

– Скажи, пожалуйста, сколько твоей барыне лет?

Лукьяныч подозрительно взглянул на меня.

– Сколько барыне лет? Не знаю. Лет за сорок будет.

– За сорок! А сестре ее сколько будет?

– А той под сорок.

– Неужто! И хороша она собой?

– Кто, сестра-то?

– Да, сестра.

Лукьяныч усмехнулся.

– Не знаю, как кому покажется. По-моему, нехороша.

– А что?

– Так, неказиста больно. Мозглявата маленько.

– Вот как! И кроме их, никто к вам не приехал?

– Никто. Кому приезжать!

– Да это быть не может!.. Я...

– Э, барин! с вами, знать, всего не переговоришь, – возразил старик с досадой. – Вишь, холод какой! Прощенья просим.

– Поймай, поймай... вот тебе... – И я протянул ему наперед приготовленный четвертак, но рука моя толкнулась в быстро захлопнутую калитку. Серебряная монета упала на землю, прокатилась и легла у моих ног.

«А, старый плут, – подумал я, – Дон-Кихот Ламанчский! тебе, видно, приказали молчать... Да погоди, меня ты не проведешь...»

Я дал себе слово во что бы то ни было добиться толку. Около получаса ходил я взад и вперед, не зная, на что решиться. Наконец я положил сперва разузнать в деревне, кто именно приехал в усадьбу и чья она, потом опять-таки вернуться и, как говорится, не отстать, пока не разъяснится дело. Выйдет же незнакомка из дома, увижу же я ее наконец днем, вблизи, как живую женщину, не как виденье. До деревни было с версту, и я тотчас отправился туда, легко и бодро выступая: странная отвага кипела и разыгрывалась в крови моей; крепительная свежесть утра раздражала меня после беспокойной ночи. В деревне я от двух отправлявшихся на работу мужиков узнал все, что мог только узнать от них; а именно: я узнал, что ту усадьбу вместе с деревней, в которую я зашел, звали Михайловским, что она принадлежала вдове, майорше Анне Федоровне Шлыковой, что у ней была сестра, незамужняя девица Пелагея Федоровна Бадаева, что обе они в летах, богаты, дома почти не живут, все в разъездах, никого при себе, кроме двух дворовых девушек и повара, не держат, что Анна Федоровна на днях вернулась из Москвы с одной только своей сестрой... Это последнее обстоятельство меня сильно смутило: нельзя ж было предполагать, что и мужику приказано было молчать о моей незнакомке. Допустить же, что Анна Федоровна Шлыкова, вдова сорока пяти лет, и та молодая, прелестная женщина, виденная мною вчера, одно и то же лицо – было совершенно невозможно. Пелагея Федоровна, по описаниям, также не отличалась красотой, да и сверх того, при одной мысли, что женщину, виденную мною в Сорренто, могли звать Пелагеей, да еще Бадаевой, я пожимал плечами и злобно смеялся. И, однако ж, я ее видел вчера, в этом доме... видел, своими глазами видел, думал я. Раздосадованный, взбешенный, но еще более непреклонный в своем намерении, я было хотел тотчас же вернуться к усадьбе... но взглянул на часы: еще шести часов не было. Я решил подождать. В усадьбе, вероятно, все еще спали... а с теперешних пор бродить около дома значило бы только напрасно возбуждать подозрение; притом передо мной расстилались кусты, за ними виднелся осиновый лес... Я должен отдать себе ту справедливость, что, несмотря на волновавшие меня мысли, благородная страсть к охоте не совсем еще замолкла во мне; «Авось, – подумал я, – наткнусь на выводок, – время и пройдет». Я вошел в кусты. Но, правду сказать, ходил я весьма небрежно и уже вовсе несообразно с правилами искусства: не следил постоянно глазами за собакой, не фыркал над густым кустом в надежде, что оттуда с громом и треском вылетит краснобровый черныш, и беспрестанно взглядывал на часы, что уже совсем никуда не годится. Вот наконец наступил девятый час. «Пора!» – воскликнул я вслух и уже повернул было назад к усадьбе, как вдруг огромный черныш действительно затрепыхался из густой травы, в двух шагах от меня; я выстрелил по великолепной птице, ранил ее в подкрылок; она чуть не свалилась, но справилась, потянула, дробя крыльями и ныряя, к лесу, попыталась было подняться выше первых осинок опушки, но ослабела и кубарем покатила в чащу. Бросить такую добычу было бы совершенно непростительно; я проворно пустился вслед за нею, вошел в лес, сделал знак Дианке и через несколько мгновений услышал бессильное хлоптанье и хлопанье: то бился несчастный черныш под лапами чуткой собаки. Я поднял его, положил в ягдташ, оглянулся – и, как пригвожденный, остался на месте...

Лес, в который я вошел, был очень част и глух, так что я с трудом добрался до места, где упала птица; но в недалеком расстоянии от меня извивалась тележная дорога, и по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом, моя красавица и тот мужчина, который обогнал меня накануне; я его узнал по усам. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку; их лошади

чуть выступали, лениво покачиваясь с боку на бок и красиво вытянув длинные шеи. Опомившись от первого испуга... именно испуга: другого названия я не могу дать чувству, внезапно меня охватившему... я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! как очаровательно неслась мне навстречу, среди изумрудной зелени, ее стройный образ! Мягкие тени, нежные отблески тихо скользили по ней – по ее длинному серому платью, по тонкой, слегка наклоненной шее, по бледно-розовому лицу, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты! Голова ее как будто склонилась под его бременем; золотые влажные искорки просвечивались в ее темных глазах, до половины закрытых ресницами; они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними. Неопределенная, младенческая улыбка – улыбка глубокой радости блуждала на ее губах; казалось, избыток счастья утомлял и как бы надломлял ее слегка, вот как распутившийся цветок иногда надламывает свой стебель; обе руки ее бессильно лежали: одна – в руке ехавшего с ней мужчины, другая – на холке лошади. Я успел рассмотреть ее – но и его тоже... Это был красивый, статный мужчина, с нерусским лицом. Он глядел на нее смело и весело и, сколько я мог заметить, не без тайной гордости любовался ею. Он любовался ею, злодей, и был очень собой доволен и не довольно тронут, не довольно умилен, именно умилен... Да и в самом деле, какой человек заслуживает такую преданность, какая самая прекрасная душа достойна доставить другой душе такое счастье... Признаться сказать, завидовал я ему!.. Между тем оба они поравнялись со мною... собака моя вдруг выскочила на дорогу и залаяла... Незнакомка вздрогнула, быстро оглянулась и, увидав меня, сильно ударила хлыстом по шее лошади. Лошадь фыркнула, взвилась на дыбы, вынесла разом вперед обе ноги и помчалась галопом... Мужчина тотчас же прищпорил своего вороного коня, и когда я через несколько мгновений вышел по дороге на опушку, они уже оба скакали в золотистой дали, через поле, красиво и мерно колыхаясь на седлах... и скакали не в направлении усадьбы...

Я глядел... Они скоро исчезли за холмом, в последний раз ярко озарившись солнцем на темной черте небосклона. Я постоял, постоял, тихими шагами вернулся в лес и сел, закрыв глаза рукою, на дорожке. Я заметил, что при встрече с незнакомыми стоит только закрыть глаза – и черты их тотчас же возникнут перед вами; всякий может поверить в справедливость моего замечания на улице. Чем знакомее лица, тем труднее являются они, тем неяснее их впечатление; их помнишь, а не видишь... а своего собственного лица никак и не представишь... Малейшая отдельная черта известна, а целого образа не составляется. Итак, я сел, закрыл глаза – и тотчас увидел и незнакомку, и ее товарища, и лошадей их, и все... особенно резко и отчетливо стояло передо мною улыбающееся лицо мужчины. Я стал вглядываться в него... оно смешалось и растаяло в какой-то багровой мгле, а вслед за ним и ее образ тоже понесся прочь и утонул и уже более не хотел возвратиться. Я приподнялся. «Ну, что ж! – подумал я, – по крайней мере, я их видел, ясно видел обоих... Остается узнать их имена». Стараться узнать их имена! Какое неуместное, мелкое любопытство! Но, клянусь, не любопытство во мне разгоралось: мне, право, просто казалось невозможным не добиться наконец, кто ж они, по крайней мере, такие, после того как случай так странно и так упорно сводил меня с ними. Впрочем, нетерпеливого, прежнего недоумения во мне уже не было: оно сменилось каким-то смутным, печальным чувством, которого я немного стыдился... Я завидовал...

Я не спешил назад к усадьбе. Мне, признаться, становилось совестно допытываться чужой тайны. Притом появление любящей четы днем, при солнечном свете, хотя все-таки неожиданное и, повторяю, странное – не то чтобы успокоило, а как-то расхолодило меня. Я уже не находил во всем этом происшествии ничего сверхъестественного, чудесного... ничего похожего на несбыточный сон...

Я начал опять охотиться, с большим вниманием, чем прежде; но все-таки настоящих восторгов не было. Выводок мне попался и задержал меня часа полтора... Молодые тетеревята долго не откликались на мой свист, – вероятно, оттого, что я свистел не

довольно «объективно». Солнце взошло уже очень высоко (часы показывали двенадцать), когда я направил шаги свои к усадьбе. Я шел не торопясь. Вот глянул наконец с холма низенький домик... сердце во мне опять задрожало. Я приблизился... и не без тайного удовольствия увидел Лукьяныча. Он по-прежнему неподвижно сидел на лавочке перед флигелем. Ворота были закрыты... и ставни тоже.

– Здравствуй, дядя! – крикнул я еще издали. – Аль погреться вышел?

Лукьяныч повернул ко мне свое худое лицо и молча приподнял фуражку.

Я подошел к нему.

– Здравствуй, дядя, здравствуй, – повторил я, желая его задобрить. – Что ж ты, – прибавил я, нечаянно увидев на земле мой новенький четвертак, – не видал, что ли, его?

И я указал ему на серебряный кружок, до половины высунувшийся из-под короткой травки.

– Нет, видел.

– Так что ж ты его не поднял?

– Да так: не мои деньги, так и не поднял.

– Экой ты, братец! – возразил я не без замешательства и, подняв четвертак, протянул ему его опять, – возьми, возьми на чай.

– Много благодарны, – отвечал мне Лукьяныч, спокойно улыбнувшись. – Не нужно; проживем и так. Много благодарны.

– Да я тебе готов с удовольствием дать еще больше! – возразил я с смущением.

– За что же? Не извольте беспокоиться – много благодарны за расположение, а хлеба с нас и в краюхе будет. И той, пожалуй, не доешь – какой час выдет.

И он встал и протянул руку к калитке.

– Постой, постой, старик, – заговорил я почти с отчаянием, – какой ты, право, сегодня неразговорчивый... Скажи мне, по крайней мере, твоя барыня – встала она, что ли?

– Они встали.

– И... дома она?

– Нет, их дома нет-с.

– В гости выехала, что ли?

– Никак нет-с: в Москву уехала.

– Как в Москву? Да она сегодня поутру здесь была?

– Здесь.

– И ночевала здесь?

– Здесь ночевали-с.

– И недавно сюда приехала?

– Недавно.

– Так как же, братец?

– А вот, этак с час будет времени, изволили обратно отправиться в Москву.

– В Москву!

Я с ошеломлением глядел на Лукьяныча: этого, признаюсь, я не ожидал...

И Лукьяныч глядел на меня... Старчески лукавая улыбка стягивала его сухие губы и чуть светилась в печальных глазах.

– И с сестрой уехала? – проговорил я наконец.

– С сестрицей.

– Так что никого теперь в доме нет?

– Никого...

«Этот старик меня обманывает, – сверкнуло у меня в голове. – Недаром он так лукаво ухмыляется».

– Послушай, Лукьяныч, – проговорил я вслух, – хочешь ты мне сделать одно одолжение?..

– Что такое вам угодно? – медленно проговорил он, видимо, начиная тяготиться моими расспросами.

– В доме, ты говоришь, никого нет; можешь ты показать мне его? Я бы очень был тебе благодарен.

– То есть вы хотите комнаты посмотреть?

– Да, комнаты.

Лукьяныч помолчал.

– Извольте, – произнес он наконец. – Пожалуйте...

И он, нагнувшись, шагнул через порог калитки. Я отправился вслед за ним. Перейдя через небольшой дворик, мы взобрались на шаткие ступеньки крыльца. Старик толкнул дверь; в ней и замка не было: веревочка с узлом торчала из ключевой скважины... Мы вошли в дом. Он весь состоял из пяти-шести низеньких комнат, и, сколько я мог различить при слабом свете, скупо струившемся сквозь трещины ставен, мебель в этих комнатах была весьма простая и дряхлая. В одной из них (именно в той, которая выходила в сад) стояло маленькое и старенькое фортепьяно... я поднял его погнутую крышку и ударил по клавишам: кислый, шипящий звук раздался и болезненно замер, как бы жалуясь на мою дерзость. Ни по чем нельзя было заметить, что из этого дома недавно выехали люди; в нем и пахло чем-то мертвенным и душным – нежилым; разве кое-где валявшаяся бумажка своей белизной давала знать, что попала сюда недавно. Я поднял одну такую бумажку; она оказалась клочком письма; на одной стороне бойким женским почерком были начертаны слова: «se taire?»⁵, на другой я разобрал слово: «bonheur...».⁶ На круглом столике подле окна стоял букет полузавядших цветов в стакане и лежала зелененькая смятая ленточка... я взял эту ленточку на память. Лукьяныч отворил узкую дверь, заклеенную обоями.

– Вот, – сказал он, протянув руку, – это вот спальня, а там, за нею, еще девичья, а то других покоев нет...

Мы пошли назад по коридору.

– А там что за комната? – спросил я, указав на широкую белую дверь с замком.

– Это? – отвечал мне Лукьяныч глухим голосом. – Это так.

– Как так?

– Да так... Кладовая... – И он пошел было в переднюю.

– Кладовая? Нельзя ли ее посмотреть?..

– Да что вам за охота, барин, право! – возразил Лукьяныч с неудовольствием. – Что вам смотреть? Сундуки, посуда старая... кладовая, и больше ничего...

– Все-таки покажи мне ее, пожалуйста, старик, – сказал я, хоть внутренне стыдился своей неприличной настойчивости. – Я вот, видишь ли, я желал бы... я хочу у себя в деревне точно такой дом...

Мне стало совестно: я не мог закончить начатой речи.

Лукьяныч стоял, наклонив на грудь седую голову, и как-то странно посматривал на меня исподлобья.

– Покажи, – проговорил я.

– Ну, извольте, – возразил он наконец, достал ключ и неохотно отпер дверь.

Я заглянул в кладовую. В ней действительно не было ничего замечательного. На стенах висели старые портреты с мрачными, почти черными лицами и злыми глазами. На полу валялся всякий хлам.

– Ну, насмотрелись? – угрюмо спросил меня Лукьяныч.

– Да, спасибо! – торопливо возразил я.

Он захлопнул дверь. Я вышел в переднюю, а из передней на двор.

Лукьяныч проводил меня, пробормотал: «Прощенья просим-с», – и пошел в свой флигелек.

⁵ «Молчать?» (фр.).

⁶ Счастье (фр.).

– А какая это у вас госпожа вчера гостила? – крикнул я ему вслед. – Я ее сегодня встретил в роще!

Я надеялся озадачить его моим внезапным вопросом, вызвать необдуманный ответ. Но старик только глухо засмеялся и, уходя к себе, хлопнул дверью.

Я отправился назад в Глинное. Мне было неловко, как пристыженному мальчику.

«Нет, – сказал я самому себе, – видно, мне не добиться разрешения этой загадки. Бог с ней! Не стану больше думать обо всем этом».

Через час я уже ехал домой, рассерженный и раздраженный.

Прошла неделя. Как ни старался я отгонять от себя прочь воспоминание о незнакомке, о ее спутнике, о моих встречах с ними, оно то и дело возвращалось и приставало ко мне со всей докучной настойчивостью послеобеденной мухи... Лукьяныч, с своими таинственными взглядами и сдержанными речами, с своей холодно-печальной улыбкой, тоже беспрестанно приходил мне на память. Самый дом, когда я вспоминал о нем, самый тот дом, казалось, хитро и тупо поглядывал на меня сквозь свои полузакрытые ставни и как будто поддразнивал меня, как будто говорил мне: а все же ты ничего не узнаешь! Я наконец не выдержал и в один прекрасный день поехал в Глинное, а из Глинного отправился пешком... куда? читатель легко догадается.

Я должен сознаться, что, подходя к таинственной усадьбе, я чувствовал довольно сильное волнение. В наружности дома не произошло никакой перемены: те же закрытые окна, тот же унылый и осиротелый вид; только на лавочке, перед флигелем, вместо старика Лукьяныча сидел какой-то молодой дворовый парень лет двадцати, в длинном нанковом кафтане и красной рубахе. Он сидел, положив на ладонь кудрявую голову, и дремал, изредка покачиваясь и вздрагивая.

– Здравствуй, брат! – промолвил я громко.

Он тотчас вскочил и выпучил на меня свои оторопелые глаза.

– Здравствуй, брат! – повторил я, – а где старик?

– Какой старик? – медленно проговорил малый.

– Лукьяныч.

– А, Лукьяныч! – Он глянул в сторону. – Вам Лукьяныча надо?

– Да, Лукьяныча. Что он, дома?

– Н-нет, – произнес малый с расстановкой, – он того... как бы вам... того... сказать...

– Нездоров он, что ли?

– Нет.

– Так что же?

– Да его совсем нет.

– Как нет?

– Так. С ним такое... недоброе приключилось.

– Он умер? – спросил я с изумлением.

– Удавился.

– Удавился! – с испугом воскликнул я и всплеснул руками.

Мы оба молча посмотрели в глаза друг другу.

– Давно ли? – проговорил я наконец.

– Да вот пятый день сегодня. Вчера его хоронили.

– Да отчего он это удавился?

– Господь его знает. Человек он был вольный, на жалованье; нужды ни в чем не знал, господа его как родного ласкали. Ведь у нас господа – дай бог им здоровья! Просто ума не приложишь, что с ним такое подеялось. Знать, лукавый попутал.

– Да как это он сделал?

– Да так. Взял да удавился.

– И ничего прежде в нем не замечали?

– Как вам сказать... Особенного этакое, чтобы... ничего. Он всегда скучный такой был, сумнительный человек. Закряхтит, закряхтит, бывало. Скучно, дескать, мне. Ну, да ведь

уж лета его какие были. В последнее время он точно что-то задумываться начал. Придет, бывало, к нам на деревню; я-то ему племянником довожусь: «Что, брат Вася, скажет, приди-ка, брат, переночуй-ка у меня!» – «А что, дяденька?» – «Да так, страшно что-то; скучно одному», ну и пойдешь к нему. Бывало, выдет на двор, посмотрит, посмотрит этак на дом, закачает, закачает головой, да как вздохнет... Перед самой той ночью, как ему то есть жизнь покончить, он тоже пришел к нам, позвал меня. Ну, я и пошел. Вот пришли мы к нему во флигелек, посидел он маленько на лавочке, встал, да и вышел. Я жду, – что, мол, долго он не идет, вышел на двор, крикнул: «Дяденька! а, дядя?» Не откликается дяденька. Я думаю: куда, мол, он это пошел, не в дом ли? да и пошел в дом. Уж смеркаться начинало. Вот прохожу я мимо кладовой, слышу, скребет там что-то за дверью; я взял да дверь и отворил; глядь, а он там сидит, прикорнул под окном. «Что, мол, говорю, дяденька, вы тут делаете?» А он как обернется да как гикнет на меня, а глаза-то у него такие быстрые, быстрые, так и горят, как у кота. «Что тебе? Разве не видишь – бреюсь?» И голос такой хриплый. У меня вдруг волосы так дыбом и поднялись, и, сам не знаю отчего, так мне страшно стало... знать, о ту пору бесы-то его уж обступили. «Впотьмах-то», – говорю я, а у самого так колени и дрожат. «Ну, говорит, хорошо, ступай». Я пошел, и он из кладовой вышел и дверь на замок запер. Вот пришли мы опять во флигелек, страх с меня тотчас и соскочил. «Что, мол, говорю я, дяденька, ты в кладовой делал?» Он так и всполохнулся. «А ты молчи, говорит, молчи!» – да и полез на лежанку. «Ну, – думаю я, – лучше не стану я с ним заговаривать: вишь, он сегодня что-то того, нездоров, должно быть». Вот я взял да и лег тоже на лежанку. А ночник горит в углу. Вот лежу я, и так, знаете, дремится мне... вдруг, слышу, дверь тихонько скрип... да и отворилась... так, немножко. А дяденька-то к двери спиной лежал, да и на ухо он всегда, вы, может, припомните, тут бывал. А тут как вскочит вдруг... «Кто меня зовет, а? кто? за мной пришел, за мной!» – да без шапки на двор... Я подумал: «Что с ним это?» – да, грешный человек, тут же и заснул. На другое утро просыпаюсь... нет Лукьяныча. Вышел из комнатки, стал его кликать – нету нигде. Спрашиваю у сторожа: «Не видал, мол, не выходил дяденька?» – «Нет, говорит, не видал». – «Что, брат, говорю, нет его что-то...» – «Ой!» Мы так оба и струхнули. «Пойдем, говорю, Федосеич, пойдем, говорю, посмотрим, нет ли его в доме». – «Пойдем, говорит, Василий Тимофеич», а сам бел, как глина. Пошли мы в дом... стал я проходить мимо кладовой, да как глянул, а замок-то висит на пробое открытый, я толк в дверь, а дверь-то изнутри заперта... Федосеич тотчас обежал кругом, посмотрел в окно. «Василий Тимофеич! кричит, ноги висят, ноги!...» Я к окну. А ноги-то это его, Лукьянычевы ноги. Так посреди комнаты и повесился... Ну, послали за судом... Сняли его с веревки: двенадцатью узлами завязана была веревка.

– Ну, что же суд?

– Да что суд? Ничего. Подумали, подумали, какая может быть причина? Нет никакой причины. Так и решили, что, должно полагать, не в своем был уме. У него ж в последнее время голова болела, часто все головой жаловался...

Я еще около получаса потолковал с малым и ушел наконец в совершенном смущении. Признаюсь, я не мог без тайного, суеверного страха смотреть на этот дряхлый дом... Через месяц я уехал из деревни; и понемногу все эти ужасы, эти таинственные встречи вышли у меня из головы.

II

Прошло три года. Большую часть этого времени я провел в Петербурге да за границей, и если когда я и заезжал к себе в деревню, то не более как на несколько дней, так что мне ни разу не пришлось побывать ни в Глинном, ни в Михайловском. Ни красавицу мою я не видал нигде, ни того мужчину. Однажды, на исходе третьего года, в Москве, мне случилось встретиться с г-жою Шлыковой и ее сестрицей, Пелагеей Бадаевой, – с той самой Пелагеей, которую я, грешный человек, до тех пор считал вымышленным лицом, – на вечере у одной моей знакомой. Обе дамы были уже не молодых лет и довольно приятной наружности;

разговор их отличался умом и веселостью: они много путешествовали, и путешествовали с пользой; в обращении их замечалась непринужденная веселость. Но между моей незнакомкой и ими не было решительно ничего общего. Меня представили им. Мы с г-жою Шлыковой разговорились (сестрицу ее занимал какой-то заезжий геолог). Я объявил ей, что имею удовольствие быть ее соседом по ...му уезду.

– А! у меня там точно есть небольшое имение, – заметила она, – возле Глинного.

– Как же, как же, – возразил я, – я знаю ваше Михайловское. Вы там бываете?

– Я? редко.

– Три года тому назад были?

– Постойте! кажется, была. Да, была, точно.

– С сестрицей вашей или одни?

Она взглянула на меня.

– С сестрой. Мы там с неделю провели. По делам, знаете. Впрочем, мы никого не видали.

– Гм... Там, кажется, соседей очень мало.

– Да, мало. Я же до них не охотница.

– Скажите, – начал я, – ведь у вас там, кажется, в том же году случилось несчастье. Лукьяныч...

Глаза г-жи Шлыковой тотчас наполнились слезами.

– А вы его знали? – промолвила она с живостью. – Такое несчастье! Такой был прекрасный, добрый старик... и, представьте, ведь без всякой причины...

– Да, да, – пробормотал я, – такое несчастье...

Сестра г-жи Шлыковой подошла к нам. Ей, вероятно, уж начинали надоедать ученые рассуждения геолога о формации берегов Волги.

– Вообрази, Pauline, – начала моя собеседница, – monsieur знал Лукьяныча.

– В самом деле? Бедный старик!

– Я не раз охотился около Михайловского в то время, когда вы там были, три года тому назад, – заметил я.

– Я? – возразила Пелагея с некоторым недоумением.

– Ну, да, конечно! – поспешно подхватила ее сестрица, – разве ты не помнишь?

И она пристально поглядела ей в глаза.

– Ах да, да... точно! – отвечала вдруг Пелагея.

«Эхе-хе, – подумал я, – навряд ты была в Михайловском, голубушка».

– Не споете ли нам что-нибудь, Пелагея Федоровна, – заговорил внезапно один высокий молодой человек, с белокурым коком и мутно-сладкими глазками.

– Я, право, не знаю, – проговорила девица Бадаева.

– А вы поете? – воскликнул я с живостью и быстро поднялся с места, – ради бога... Ах, ради бога, спойте нам что-нибудь.

– Но что мне спеть вам?

– Не знаете ли вы, – начал я, всячески стараясь придать себе вид равнодушный и развязный, – одну итальянскую песенку... она так начинается: *Passa que'colli*?

– Знаю, – отвечала Пелагея совершенно невинно. – Что ж, ее вам спеть? Извольте.

И она села за фортепьяно. Я, как Гамлет, впериł взоры свои в г-жу Шлыкову. Мне показалось, что при первом звуке она слегка вздрогнула; впрочем, она спокойно досидела до конца. Девица Бадаева пела недурно. Песенка кончилась – раздались обычные рукоплескания. Стали просить ее спеть еще что-нибудь; но обе сестры перемигнулись и через несколько минут уехали. Когда они выходили из комнаты, мне послышалось слово: *importun*.⁷

«Поделом!» – подумал я – и уже больше с ними не встречался.

⁷ Навязчивый (фр.).

Прошел еще год. Я переехал на жительство в Петербург. Настала зима; начались маскарады. Однажды, выходя в одиннадцатом часу вечера из одного приятельского дома, я почувствовал себя в таком мрачном расположении духа, что решился отправиться в маскарад, в Дворянское собрание. Долго бродил я вдоль колонн и мимо зеркал с скромно-фатальным выражением на лице, с тем выражением, которое, сколько я мог заметить, в подобных случаях появляется у самых порядочных людей – почему, один господь ведает; долго бродил я, изредка отшучиваясь от пискливых домино с подозрительными кружевами и несвежими перчатками и еще реже заговаривая сам с ними; долго предавал я свои уши завываньям труб и визгу скрипок; наконец, наскучавшись вдоволь и добившись головной боли, хотел я уже ехать домой... и... и остался. Я увидел женщину в черном домино, прислонившуюся к колонне, – увидел ее, остановился, подошел к ней – и... поверят ли мне мои читатели?... тотчас узнал в ней мою незнакомку. Почему узнал я ее: по взгляду ли, который она рассеянно бросила на меня сквозь продолговатые отверстия маски, по дивному ли очертанию ее плеч и рук, по особенной ли женственной величавости всего ее образа, или, наконец, по какому-то тайному голосу, который внезапно заговорил во мне, – не могу сказать... но только я узнал ее. С дрожью на сердце прошел я несколько раз мимо нее. Она не шевелилась; в ее позе было что-то до того безнадежно горестное, что, глядя на нее, я невольно вспомнил два стиха испанского романа:

Я печальная картина,
Прислоненная к стене.⁸

Я зашел за колонну, о которую она опиралась, и, наклонив голову к самому ее уху, тихо произнес:

– *Passa que'colli...*

Она вся затрепетала и быстро обернулась ко мне. Глаза наши так близко встретились, что я мог заметить, как испуг расширил ее зрачки. С недоумением, слабо протянув одну руку, смотрела она на меня.

– Шестого мая 184* года, в Сорренто, в десять часов вечера, в улице della Croce,⁹ – проговорил я медленным голосом, не спуская с нее глаз, – потом в России, в ...й губернии, в сельце Михайловском, двадцать второго июля 184* года...

Я сказал все это по-французски. Она подалась немного назад, окинула меня с ног до головы изумленным взором и, прошептав: «*Venez*»,¹⁰ – проворно пошла вон из залы. Я отправился вслед за ней.

Мы шли молча. Я не в силах передать, что почувствовал, идя с ней рядом. Прекрасное сновидение, которое бы вдруг стало действительностью... статуя Галатеи, сходящая живой женщиной с своего пьедестала в глазах замирающего Пигмалиона... Я не верил себе, я едва мог дышать.

Мы прошли несколько комнат... Наконец в одной из них она остановилась перед небольшим диваном у окна и села. Я сел подле нее.

Она медленно обернула ко мне свою голову и внимательно посмотрела на меня.

– Вы... вы от *него*? – проговорила она.

Голос ее был слаб и неверен...

Ее вопрос меня несколько смутил.

– Нет... не от него, – отвечал я, запинаясь.

⁸ Soy un cuadro de tristeza, // Arrimado a la pared. // (Прим. автора.)

⁹ Креста (ит.).

¹⁰ Пойдемте (фр.).

– Вы его знаете?

– Знаю, – возразил я с таинственной важностью. Мне хотелось поддержать свою роль. – Знаю.

Она недоверчиво посмотрела на меня, хотела что-то сказать и потупилась.

– Вы его ждали в Сорренто, – продолжал я, – вы виделись с ним в Михайловском, вы ездили с ним верхом...

– Как вы могли... – начала было она.

– Уж я знаю... я все знаю...

– Ваше лицо мне как будто знакомо, – продолжала она, – но нет...

– Нет, я вам незнаком.

– Так что же вы хотите?

– Да уж я знаю, – твердил я.

Я очень хорошо понимал, что мне следовало воспользоваться отличным началом, идти далее, что мои повторения «я все знаю, уж я знаю» становились смешными, – но мое волнение было так велико, эта неожиданная встреча до того меня смутила, я так потерялся, что решительно не умел сказать ничего другого. Притом же я действительно больше ничего и не знал. Я чувствовал, что я глупею, чувствовал, что я из таинственного, всеведущего существа, каким я сперва ей должен был показаться, быстро превращаюсь в какого-то ухмыляющегося дурачка... но делать было нечего.

– Да, я все знаю, – пробормотал я еще раз.

Она взглянула на меня, проворно встала и хотела удалиться.

Но это было бы слишком жестоко. Я ее схватил за руку.

– Ради бога, – начал я, – сядьте, выслушайте меня...

Она подумала и села.

– Я вам сейчас говорил, – продолжал я с жаром, – что я все знаю, – это вздор. Я ничего не знаю, решительно ничего: я не знаю ни кто вы, ни кто он, и если я мог вас удивить тем, что я сказал вам сейчас у колонны, то припишите это одному случаю, странному, непонятному случаю, который, как будто на смех, два раза и почти одинаковым образом сталкивал меня с вами, делал меня невольным свидетелем того, что, может быть, вы бы желали сохранить в тайне...

И я тут же, нисколько не обинуясь и без малейшей утайки, рассказал ей все: встречи мои с ней в Сорренто, в России, мои тщетные расспросы в Михайловском, даже разговор мой в Москве с Шлыковой и ее сестрой.

– Теперь вы все знаете, – продолжал я, окончив свой рассказ. – Я не стану описывать вам, какое глубокое, какое потрясающее впечатление вы произвели на меня: видеть вас и не быть очарованным вами – невозможно. С другой стороны, мне тоже не для чего говорить вам, какого рода было это впечатление. Вспомните, при каких условиях я оба раза видел вас... Поверьте, я не охотник предаваться безумным надеждам, но поймите также и то неизъяснимое волнение, которое овладело мною сегодня, и извините меня, извините неловкую хитрость, к которой я решился прибегнуть, чтоб обратить ваше внимание, хотя на мгновение...

Она выслушала мои сбивчивые объяснения, не поднимая головы.

– Что же вы хотите от меня? – сказала она наконец.

– Я?... Я ничего не хочу... Я и так уже счастлив... Я слишком уважаю чужие тайны.

– Будто? Однако вы до сих пор, кажется... Впрочем, – продолжала она, – я не хочу упрекать вас. Всякий на вашем месте сделал бы то же. Притом случай действительно так настойчиво сближал нас... это как будто дает вам некоторое право на мою откровенность. Слушайте: я не принадлежу к числу тех женщин, непонятых и несчастных, которые ездят по маскарадам для того, чтобы болтать с первым встречным о своих страданиях, которым нужны сердца, исполненные сочувствия... Мне ничьего сочувствия не нужно; мое собственное сердце умерло, и я приехала сюда для того только, чтобы окончательно похоронить его.

Она поднесла платок к своим губам.

– Я надеюсь, – продолжала она с некоторым усилием, – что вы не принимаете моих слов за обыкновенные маскарадные излияния. Вы должны понять, что мне не до того...

И точно, в ее голосе было что-то страшное, при всей вкрадчивой мягкости ее звуков.

– Я русская, – сказала она по-русски – до тех пор она выражалась на французском языке, – хотя мало жила в России... Имя вам мое знать не нужно. Анна Федоровна моя старинная приятельница; я точно ездила в Михайловское под именем ее сестры... Тогда мне нельзя было с ним видаться явно... И без того начинали ходить слухи... тогда еще существовали препятствия – он не был свободен... Эти препятствия исчезли... но тот, чье имя должно было сделаться моим, тот, с которым вы меня видели, меня бросил.

Она сделала движение рукой и помолчала...

– Вы точно его не знаете? не встречались с ним?

– Ни разу.

– Он почти все это время провел за границей. Впрочем, он теперь здесь... Вот и вся моя история, – прибавила она, – вы видите, в ней нет ничего таинственного, ничего особенного.

– А Сорренто? – робко прервал я.

– Я с ним познакомилась в Сорренто, – медленно возразила она и задумалась.

Мы оба умолкли. Странное смущение овладело мною. Я сидел подле нее, подле той женщины, чей образ так часто носился в мечтах моих, так мучительно волновал и раздражал меня, – я сидел подле нее и чувствовал холод и тяжесть на сердце. Я знал, что ничего не выйдет из этой встречи, что между ею и мною была бездна, что мы, расставшись, разойдемся навсегда. Протянув голову и уронив обе руки на колени, сидела она равнодушно и небрежно. Знаю я эту небрежность неизлечимого горя, знаю равнодушие безвозвратного несчастья! Маски четами проходили мимо нас; звуки «однообразного и безумного» вальса то глухо отдавались в отдаленье, то приносились резкими взрывами; тяжело и печально волновала меня веселая бальная музыка. «Неужели, – думал я, – эта женщина – та самая, которая явилась мне некогда в окне того далекого деревенского домика во всем блеске торжествующей красоты?...» И между тем время, казалось, не коснулось ее. Нижняя часть ее лица, не скрытая кружевами маски, была почти младенчески нежна; но от нее веяло холодом, как от статуи... Возвратилась Галатея на свой пьедестал, и уже не сойти с него более.

Вдруг она выпрямилась, заглянула в другую комнату и встала.

– Дайте мне руку, – сказала она мне, – пойдемте скорей, скорей.

Мы вернулись в залу. Она шла так быстро, что я едва за ней поспевал. У одной колонны она остановилась.

– Подождите здесь, – прошептала она.

– Вы кого-нибудь ищете, – начал было я...

Но она не обращала на меня внимания: пристальный взор ее вперился в толпу. Темно и грозно глядели из-под черного бархата ее черные большие глаза.

Я обернулся в направлении ее взора и все понял. По коридору, образуемому рядом колонн и стеной, шел он, тот мужчина, которого я встретил с нею в лесу. Я узнал его тотчас; он почти не изменился. Так же красиво вился его русский ус, такой же спокойной и самоуверенной веселостью светились его карие глаза. Он шел не торопясь и, слегка наклонив свой тонкий стан, рассказывал что-то женщине в domino, которую вел под руку. Поравнявшись с нами, он внезапно поднял голову, посмотрел сперва на меня, потом на ту, с которой я стоял, и, вероятно, узнал ее, узнал ее глаза, потому что брови его слегка дрогнули, – он прищурился, и чуть заметная, но нестерпимо дерзкая усмешка шевельнула его губы. Он нагнулся к своей спутнице, шепнул ей на ухо два слова, та тотчас оглянулась, голубенькие ее глазки торопливо окинули нас обоих, и, тихо засмеявшись, погрозила она ему своей маленькой ручкой. Он слегка приподнял одно плечо, она кокетливо к нему прижалась...

Я обернулся к моей незнакомке. Она смотрела вслед уходящей чете и вдруг, выдернув у меня руку, бросилась к дверям. Я было устремился вслед за ней, но она, обернувшись, так

на меня взглянула, что я глубоко ей поклонился и остался на месте. Я понял, что преследовать ее было бы грубо и глупо.

– Скажи, пожалуйста, братец, – говорил я четверть часа спустя одному из моих приятелей – живому адрес-календарю Петербурга, – что это за высокий, красивый господин с усами?

– Это?.. это какой-то иностранец, довольно загадочное существо, очень редко появляющееся на нашем горизонте. А что?

– Так!..

Я вернулся домой. С тех пор я уже нигде не встречал моей незнакомки. Зная имя человека, которого она любила, я бы, вероятно, мог добиться наконец, кто она была такая, но я сам не желал этого. Я сказал выше, что эта женщина появилась мне как сновидение – и как сновидение прошла она мимо и исчезла навсегда.

1851